

Л. Н.  
АНДРЕЕВ

*Избранное*



# Леонид Николаевич Андреев

## Ложь

*[http://www.litres.ru/pages/biblio\\_book/?art=146646](http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=146646)*

### **Аннотация**

«– Ты лжешь! Я знаю, ты лжешь!

– Зачем ты кричишь? Разве нужно, чтобы нас слышали?

И здесь она лгала, так как я не кричал, а говорил совсем тихо-тихо, держал ее за руку и говорил тихо-тихо, и это ядовитое слово «ложь» шипело, как маленькая змейка...»

# Содержание

I	4
II	8
III	12
IV	15
V	17
VI	20

# Леонид Андреев

## Ложь

### I

– Ты лжешь! Я знаю, ты лжешь!

– Зачем ты кричишь? Разве нужно, чтобы нас слышали?

И здесь она лгала, так как я не кричал, а говорил совсем тихо-тихо, держал ее за руку и говорил тихо-тихо, и это ядовитое слово «ложь» шипело, как маленькая змейка.

– Я тебя люблю, – продолжала она. – И ты должен верить! Разве это не убеждает тебя?

И она поцеловала меня. Но, когда я хотел охватить и сжать ее руками, ее уже не было. Она ушла из полутемного коридора, и я снова последовал за ней туда, где заканчивался веселый праздник. Почему я знаю, где это было? Она сказала, чтобы я пришел туда, и я пришел и видел, как всю ночь кружились пары. Никто не подходил ко мне и не заговаривал со мной, и, всем чужой, я сидел в углу около музыкантов. Прямо на меня было направлено жерло большой медной трубы, и оттуда рычал кто-то запертый и через каждые две

минуты отрывисто и грубо смеялся: хо-хо-хо.

Иногда ко мне приближалось белое душистое облако. То была она. Не знаю, как она умела ласкать меня незаметно для людей, но на одну коротенькую секунду плечо ее прижималось к моему плечу, на одну коротенькую секунду я видел, опустив глаза, белую шею в прорезе белого платья. А когда поднимал глаза, то видел профиль, такой белый, строгий и правдивый, какой бывает у задумавшегося ангела над могилой забытого человека. И глаза ее я видел. Они были большие, жадные к свету, красивые и спокойные. Окруженный голубым ободком, чернел зрачок, и сколько я ни смотрел в него, он был все такой же черный, глубокий и непроницаемый. Быть может, я смотрел в него так недолго, что сердце не успевало еще сделать ни одного толчка, но никогда я так глубоко и страшно не понимал, что значит бесконечность, и никогда с такой силой не ощущал ее. Со страхом и болью я чувствовал, что вся моя жизнь тоненьким лучом переходила в ее глаза, пока я становился чужим для самого себя, опустевшим и безгласным – почти мертвым. Тогда она уходила от меня, унося с собою мою жизнь, и опять танцевала с кем-то высоким, надменным и красивым. Каждую подробность изучил я в нем: форму его обуви, широту приподнятых плеч, равномерный взмах отделившейся пряди волос, – а он своим безразличным,

невидящим взглядом словно вдавливал меня в стену, и я делался таким же плоским и несуществующим для глаз, как и стена.

Когда стали тухнуть свечи, я подошел к ней и сказал:

– Пора ехать. Я провожу вас.

Но она удивилась.

– Но ведь я еду с ним, – и она показала на высокого и красивого, который не смотрел на нас. И, отведя меня в пустую комнату, она поцеловала меня.

– Ты лжешь, – сказал я тихо-тихо.

– Мы сегодня увидимся. Ты должен прийти, – ответила она.

Из-за высоких крыш смотрело зеленое морозное утро, когда я ехал домой. И на всей улице было только нас двое: извозчик и я. Он сидел, понурившись и спрятав лицо, а за ним сидел, понурившись, я и прятал лицо до самых глаз. И у извозчика были свои мысли, а у меня свои, а там, за толстыми стенами, спали тысячи людей, и у них были свои сновидения и мысли. Я думал о ней и о том, что она лжет; я думал о смерти, и мне казалось, что эти сумеречно освещенные стены уже видели мою смерть и оттого они так холодны и прямы. Не знаю, о чем думал извозчик. Не знаю, о чем грезили те, скрытые стенами. Но ведь и они не знали, о чем думаю и грежу я.

Итак, мы ехали по длинным и прямым улицам, а утро поднималось из-за крыш, и все кругом было неподвижно и бело. Душистое холодное облако приближалось ко мне, и прямо в мое ухо смеялся кто-то запертый: хо-хо-хо.

## II

Она солгала. Она не пришла, и я напрасно ждал ее. Серый, ровный, застывший полумрак спускался с темного неба, и я не знал, когда сумерки перешли в вечер и вечер перешел в ночь, и думал, что все это была одна долгая ночь. Все теми же шагами, однообразными, равномерными шагами долгих ожиданий ходил я взад и вперед. Я не подходил близко ни к высокому дому, в котором жила любимая мной, ни к стеклянной его двери, желтевшей под желтым навесом, а все теми же равномерными шагами ходил по противоположной стороне – взад и вперед, взад и вперед. И идя вперед, я не сводил глаз со стеклянной двери, а возвращаясь обратно, часто останавливался и оборачивал голову, и тогда острыми иглами снег колот мое лицо. И так длинны были они, эти острые и холодные иглы, что проникали до самого сердца и кололи его тоской и гневом бессильного ожидания. От светлого севера к темному югу свободно мчался холодный воздух, со свистом играл на обледенелых крышах и, срываясь оттуда, сек мое лицо острыми маленькими снежинками и мелко стучал в стекла пустых фонарей, где одинокое, дрожащее от холода сгибалось желтое пламя. И мне жаль было одинокого пламени, живуще-



го только ночью, и я думал, что вот вся жизнь кончится на этой улице, и я уйду, и только снежинки будут нестись по пустому пространству, а желтое пламя все будет дрожать и сгибаться – в одиночестве и холоде.

Я ждал ее, и она не приходила. И мне чудилось, что одинокое пламя и я, мы похожи друг на друга, и только фонарь мой не был пуст: в том пространстве, которое я измерял своими шагами, иногда показывались люди. Они неслышно вырастали за моей спиной, большие и темные, двигались мимо меня и, серея словно призрак, внезапно исчезали за острым углом белого здания. И снова выходили они из-за угла, равнялись со мной и медленно таяли в сером пространстве, полном бесшумно движущегося снега. Закутанные, бесформенные, молчаливые, они были похожи друг на друга и на меня, и мне казалось, что десятки людей ходят взад и вперед, как и я, ждут, дрогнут и молчат, как и я, и думают о чем-то своем, загадочном и печальном.

Я ждал ее, и она не приходила. Не знаю, почему я не кричал и не плакал от боли; не знаю, почему я смеялся и радовался и сжимал пальцы так, будто они когти, и будто я держу в них то маленькое и ядовитое, что шипит, словно змейка: ложь! Она извивалась в моих руках и кусала мое сердце, и от яда ее кружилась моя голова. Все было ложь. Исчезла грань между бу-

душим и настоящим, между настоящим и прошлым. Исчезла грань между тем временем, когда я еще не жил, и тем, когда я стал жить, и я думал, что я жил всегда – или не жил никогда. И всегда, когда я еще не жил и когда я стал жить, царила надо мной она, и мне странно было думать, что у нее есть и тело, и что в существовании ее есть начало и конец. У нее не было имени, и всегда она была та, что лжет, та, что вечно заставляет ждать и никогда не приходит. И не знаю, почему я смеялся, и острые иглы вонзались в мое сердце, и прямо в ухо мое смеялся кто-то запертый: хо-хо-хо.

Открывая глаза, я видел освещенные окна высокого дома, и они тихо говорили мне своим синим и красным языком:

– Ты обманут ею; в эту минуту, пока ты одиноко блуждаешь, ждешь и страдаешь, она, вся красивая, вся яркая, вся лживая, находится здесь и слушает то, что шепчет ей высокий и красивый человек, презирающий тебя. Если бы ты ворвался сюда и убил ее, ты сделал бы хорошо, так как убил бы ложь.

Я крепче сжимал руку, в которой был нож, и, смеясь, отвечал:

– Да, я убью ее.

Но печально глядели на меня окна и печально добавляли:

– Но ты никогда не убьешь ее. Никогда, потому что оружие в твоей руке – такая же ложь, как и ее поцелуи.

Давно уже исчезли безмолвные тени ожидавших, и в холодном пространстве остался один я да дрожащие от стужи и отчаяния одинокие языки огня. Невдалеке, на церковной колокольне, стали бить часы, и их унылый металлический звук дрожал и плакал, вылетая в пространство и теряясь в массе безумно кружащихся снежинок. Я начал считать удары и рассмеялся: часы пробили пятнадцать. Колокольня была старая, и часы были старые, и хотя верно показывали время, но удары отбивали без счету, иногда так много, что старый седой звонарь взлезал вверх и удерживал руками судорожно бьющийся молоточек. Для кого лгали эти дрожащие, старчески-печальные звуки, охваченные и задушенные морозной тьмой? Так жалка и нелепа была эта ненужная ложь.

И с последним лживым звуком часов стукнула стеклянная дверь, и по ступенькам спустился кто-то высокий. Я видел только его спину, но я узнал ее, так как только вчера видел ее, гордую, презрительную. И походку узнал я, и была она более легкой и уверенной, чем вчера: таким раз отходил и я от этой двери: так ходят люди, которых только сейчас целовали женские лживые уста.



Я грозил, я требовал, скрежеща зубами:

– Открой мне правду!

И с холодным, как снег, лицом, с удивленно приподнятыми бровями, под которыми все так же бесстрастно и загадочно темнел непроницаемый зрачок, она спрашивала меня:

– Но разве я лгу тебе?

Она знала, что я не могу доказать ее лжи, и что все мои тяжелые, массивные создания пытающей мысли могут быть разрушены одним ее словом – еще одним лживым словом. Я ждал его – и оно сходило с ее уст, сверкающее на поверхности красками правды и темное в своей глубине.

– Я люблю тебя. Разве я не вся твоя?

Мы были далеко от города, и в темные окна глядело снежное поле. Над ним была тьма и вокруг него была тьма, густая, неподвижная, молчаливая, но оно сияло своим сокровенным светом, как лицо мертвеца во мраке. Одна только свеча горела в большой, жарко натопленной комнате, и на краснеющем пламени виднелся бледный от свет мертвого поля.

– Как бы ни была печальна правда, я хочу знать ее. Быть может, я умру, узнав ее, но смерть лучше, чем

незнание правды. В твоих поцелуях и объятиях я чувствую ложь. В твоих глазах я вижу ее. Скажи мне правду – и я навсегда уйду от тебя, – говорил я.

Но она молчала, и взгляд ее, холодно-пытливый, проникал в глубь меня, выворачивал мою душу и с странным любопытством рассматривал ее. И я закричал:

– Отвечай, или я убью тебя!

– Убей! – спокойно ответила она. – Иногда так скучно жить. Но разве угрозами можно добиться правды?

И тогда я стал на колени. Сжимая ее руки, плача, я молил ее о жалости – и о правде.

– Бедный, – говорила она, кладя руку на мои волосы. – Бедный!

– Пожалей меня, – молил я. – Я так хочу правды.

И я смотрел на ее чистый лоб и думал, что правда там, за этой тоненькой преградой. И мне безумно хотелось сорвать череп, чтобы увидеть правду. А вот здесь, за белой грудью, бьется сердце – и мне безумно хотелось разорвать грудь и хоть раз увидеть обнаженное человеческое сердце. И неподвижно желтело острое пламя догоравшей свечи, и, темнея, расходились стены, и было так грустно, так одиноко, так жутко.

– Бедный, – говорила она. – Бедный.

Судорожно метнувшись, упало желтое пламя и стало синим. А потом оно погасло – тьма охватила нас. Я

не видел ни лица ее, ни глаз, ее руки охватывали мою голову, и я уже не чувствовал лжи. Закрыв глаза, я не думал, не жил, я только впитывал в себя ощущение ее рук, и оно казалось мне правдивым. И в темноте тихо звучал ее шепот, боязливый и странный:

– Обними меня. Мне страшно.

И опять тишина, и опять тихий, полный страха шепот:

– Ты хочешь правды, – а разве сама я знаю ее? И разве я не хочу знать ее? Защити меня! О, как мне страшно!

Я открыл глаза. Побледневший мрак комнаты в страхе бежал от высоких окон, и собирался у стен, и прятался в углы, – а в окна молча глядело что-то большое, мертвенно-белое. Казалось, что чьи-то мертвые очи разыскивают нас и охватывают своим ледяным взглядом. Дрожа, мы прижимались друг к другу, и она шептала:

– О, как страшно!

## IV

Я убил ее. Я убил ее, и, когда вялой и плоской массой она лежала у того окна, за которым белело мертвое поле, я стал ногой на ее труп и рассмеялся. Это не был смех сумасшедшего, о, нет! Я смеялся оттого, что грудь моя дышала ровно и легко, и внутри ее было весело, спокойно и пусто, и от сердца отпал червяк, точивший его. И, наклонившись, я заглянул в ее мертвые глаза. Большие, жадные к свету, они остались открытыми и были похожи на глаза восковой куклы – такие же круглые и тусклые, точно покрытые слюдой. Я мог трогать их пальцами, закрывать и открывать, и мне не было страшно, потому что в черном, непроницаемом зрачке уже не жил тот демон лжи и сомнений, который так долго, так жадно пил мою кровь.

Когда меня схватили, я смеялся, и схватившим меня людям это показалось и страшным и диким. Один с отвращением отворачивались от меня и отходили в сторону; другие прямо и грозно, с укором на устах, шли на меня, но, когда на их глаза падал мой светлый и веселый взгляд, лица их бледнели, и земля приковывала к себе их ноги.

– Сумасшедший, – говорили они, и мне казалось, это слово утешает их, потому что помогает понять за-

гадку: как, любящий, я мог убить любимую – и смеяться. И только один, толстый, краснощекий и веселый, назвал меня другим словом, и оно ударило меня и затмило в моих глазах свет.

– Бедный человек! – сказал он с состраданием и без злобы, потому что был толстый и веселый. – Бедный!

– Не надо! – крикнул я. – Не надо называть меня так!

Не знаю, зачем я кинулся к нему. Конечно, я не хотел ни убивать его, ни трогать, но все эти перепуганные люди, видевшие во мне сумасшедшего и злодея, перепугались еще больше и закричали так, что мне опять стало смешно.

Когда меня выводили из комнаты, где лежал труп, я громко и настойчиво повторял, глядя на веселого, толстого человека:

– Я счастливый! Я счастливый!

И это была правда.



## V

Когда-то в детстве я видел в зверинце пантеру, поразившую мое воображение и надолго полонившую мысли. Она была непохожа на других зверей, которые бессмысленно дремали или злобно смотрели на посетителей. Из угла в угол, по одной и той же линии, с математической правильностью ходила она, каждый раз поворачиваясь на одном и том же месте, каждый раз задевая золотистым боком за один и тот же металлический прут решетки. Хищная острая голова ее была опущена, и глаза смотрели перед собой, ни разу, никогда не поворачиваясь в сторону. Перед ее клеткой целые дни толпился народ, говорил, шумел, а она все ходила, и ни разу глаза ее не обратились к смотрящим. И немногие лица из толпы улыбались; большинство серьезно, даже мрачно смотрели на эту живую картину тяжелого безысходного раздумья и со вздохом отходили. А отойдя, еще раз недоумевающе, пылливо оглядывались на нее и вздыхали, как будто было что-нибудь общее в судьбе их, свободных людей, и этого несчастного плененного зверя. И когда впоследствии со мной, уже взрослым, люди и книги заговорили о вечности, я вспомнил пантеру, и мне показалось, что я уже знаю вечность и ее муки.

В такую пантеру превратился я в моей каменной клетке. Я ходил и думал. Я ходил по одной линии наискось клетки, от угла к углу, и по одной короткой линии шли мои мысли, такие тяжелые, что, казалось, не голову, а целый мир ношу я на своих плечах. Только из одного слова состоял он, но какое это было большое, какое мучительное, какое злое слово.

Ложь – так произносилось это слово.

Опять оно, шипя, выползло из всех углов и обвивалось вокруг моей души, но оно перестало быть маленькой змейкой, а развернулось большой, блестящей и свирепой змеей. И жалила и душила она меня своими железными кольцами, и когда я начинал кричать от боли, из моего открытого рта выходил тот же отвратительный, свистящий змеиный звук, точно вся грудь моя кишела гадами:

– Ложь!

И я ходил и думал, и перед моими глазами серый, ровный асфальт пола превращался в сереющую прозрачную бездну. Ноги переставали ощущать прикосновение к камню, и мне чудилось, что в бесконечной высоте я парю над туманом и мглой. И когда грудь моя исторгала свистящий стон, оттуда снизу – из-под этой рдеющей, но непроницаемой пелены медленно приносился страшный отзвук. Так медленно и глухо, точно он проходил сквозь тысячелетия и в каждую мину-

ту и в каждой частице тумана терял свою силу. Я понимал, что там – внизу – он свистел, как ветер, который срезает деревья, но в мое ухо он входил зловещим коротким шепотком:

– Ложь!

Этот подлый шепот приводил меня в негодование. Я топал ногой по камню и кричал:

– Нет лжи! Я убил ложь.

И нарочно я отворачивался в сторону, так как знал, что она ответит. И она отвечала медленно, из глубины бездонной пропасти:

– Ложь!

Дело, как видите, в том, что я жалко ошибся. Женщину я убил, а ложь сделал бессмертной. Не убивайте женщины, пока мольбами, пыткой и огнем вы не вырвете из души ее правды!

Так думал я и ходил наискосок клетки, от угла к углу!

## VI

Темно и страшно там, куда она унесла правду и ложь – и я пойду туда. У самого престола сатаны я настигну ее, и упаду на колени, и заплачу, и скажу:

– Открой мне правду!

Но, боже! Ведь это ложь. Там тьма, там пустота веков и бесконечности, и там нет ее и нет ее нигде. Но ложь осталась. Она бессмертна. Я чувствую ее в каждом атоме воздуха, и, когда я дышу, она с шипением входит в мою грудь и рвет ее, рвет!

О, какое безумие быть человеком и искать правды!  
Какая боль!

– Спасите меня! Спасите!

*14 февраля 1900 г.*